ЗИГМУНД ФРЕЙД

«ДОСТОЕВСКИЙ И ОТЦЕУБИЙСТВО»

З. Фрейд. Достоевский и отцеубийство / Под ред. Р.Ф. Додельцева и К.М. Долгова, пер. Р.Ф. Додельцева // З. Фрейд. Художник и фантазирование. - М.: Республика, 1995.

В богатой личности Достоевского хотелось бы выделить четыре лика: художника, невротика, моралиста и грешника. Добьемся ли мы ясности в этой сбивающей с толку сложности?

Наименьшие сомнения вызывают его качества художника, он занимает место рядом с Шекспиром. "Братья Карамазовы" - самый грандиозный роман из когда-либо написанных, а "Легенда о Великом Инквизиторе" - одно из наивысших достижений мировой литературы, которое невозможно переоценить. К сожалению, психоанализ вынужден сложить оружие перед проблемой писательского мастерства.

Достоевский уязвим, скорее всего как моралист. Признавая его высоконравственным человеком на том основании, что высшей ступени нравственности достигает только тот, кто прошел через бездны греховности, мы упускаем из виду одно соображение. Ведь нравствен тот, кто реагирует уже на внутренне воспринимаемое искушение, не поддаваясь ему. Кто же попеременно то грешит, то в раскаянии берет на себя высоконравственные обязательства, тот обрекает себя на упреки, что он слишком удобно устроился. Такой человек не осуществляет самого главного в нравственности - самоограничения, ибо нравственный образ жизни - это реализация практических интересов всего человечества. Он напоминает варваров эпохи переселения народов, которые убивали и каялись в этом, так что покаяние становилось всего лишь приемом, содействующим убийству. Иван Грозный вел себя так же, не иначе; скорее всего, такая сделка с совестью - типично русская черта. Достаточно бесславен и конечный итог нравственных борений Достоевского. После самых пылких усилий примирить запросы индивидуальных влечений с требованиями человеческого сообщества он вновь возвращается к подчинению мирским и духовным авторитетам, к поклонению

царю и христианскому Богу, к черствому русскому национализму, к позиции, к которой менее значительные умы приходили с меньшими затратами сил. В этом слабое место большой личности. Достоевский упустил возможность стать учителем и освободителем человечества, он присоединился к его тюремщикам; будущая культура человечества окажется ему немногим обязана. Вероятно, это позволяет считать, что на такую неудачу он был обречен своим неврозом. По мощи интеллекта и силе любви к людям ему как будто был открыт другой жизненный путь - апостольский.

Восприятие Достоевского как грешника или преступника вызывает резкое сопротивление, которое не годится основывать на обывательской оценке личности преступника. Легко обнаружить его истинный мотив; для преступника существенны две черты - безграничное себялюбие и сильная тенденция к разрушению; общим для обеих черт и предпосылкой их проявления является бессердечие, недостаток эмоциональных оценок объектов (людей). По контрасту сразу же вспоминается Достоевский с его огромной потребностью в любви и с невероятной способностью любить, выразившейся в примерах его сверхдоброты и позволявшей ему любить и помогать даже там, где он имел право на ненависть и на месть, как, например, в отношении своей первой жены и ее возлюбленного. Но тогда следует вопрос: откуда вообще возникает соблазн причислить Достоевского к преступникам? Ответ: из-за выбора художником литературного материала, в первую очередь характеров жестоких, себялюбивых, склонных к убийству, что указывает на существование таких склонностей в его внутреннем мире, а, кроме того, из-за некоторых фактов его жизни, таких, как страсть к азартным играм, предположительное сексуальное растление несовершеннолетней девочки ("Исповедь"). Возникшее противоречие разрешается, если принять в расчет, что очень сильное разрушительное влечение Достоевского, способное легко превратить его в преступника, в его жизни было направлено преимущественно против собственной личности (вовнутрь, вместо того чтобы устремляться вовне) и, таким образом, выражалось как мазохизм и чувство вины. Впрочем, в личности Достоевского достаточно при всем том и садистских черт, проявляющихся в

раздражительности, нетерпимости, тиранстве - даже по отношению к любимым людям, а также в манере обращения со своим читателем; итак, в мелочах он - садист в отношении внешних объектов, в главном - садист по отношению к себе, следовательно, мазохист, то есть самый мягкий, добродушный, всегда готовый помочь человек.

В сложностях личности Достоевского мы выделили три фактора - один количественный и два качественных. Его чрезвычайно высокую возбудимость; задатки извращенных влечений, подталкивающих его к садомазохизму и к преступлению; и его не поддающееся анализу художественное дарование. Пожалуй, такой ансамбль вполне жизнеспособен и без невроза; бывают же стопроцентные мазохисты, не ставшие невротиками. По соотношению сил между устремлениями влечений и противостоящими им торможениями (плюс, имеющиеся возможности сублимации) Достоевского все же можно было бы отнести к так называемым "'импульсивным характерам". Но положение осложняется наличием невроза, вроде бы необязательного, как было сказано, при данных обстоятельствах, но все же возникающего тем быстрее, чем глубже сложности личности, которыми должно овладеть Я. Ведь невроз - только признак того, что Я такое овладение не удалось, что при попытке осуществить его оно поплатилось своей целостностью.

Что же тогда доказывает существование невроза в строгом смысле этого слова? Достоевский сам называл себя - и другие считали так же - эпилептиком из-за своих периодических тяжелых припадков, с потерей сознания, судорогами и с последующим дурным настроением. При таких обстоятельствах наиболее вероятно, что эта так называемая эпилепсия - лишь симптом его невроза, который в этом случае нужно было бы классифицировать как истероэпилепсию, то есть как тяжелую истерию. Полной ясности нельзя добиться по двум причинам: во-первых, потому, что данные анамнеза о так называемой эпилепсии Достоевского недостаточны и ненадежны; во-вторых, потому, что нет ясного понимания болезненных состояний, связанных с эпилептоидными припадками.

Прежде всего, о втором пункте. Здесь излишне воспроизводить всю патологию эпилепсии: это все равно не приведет к окончательному выводу, можно, однако, сказать: во всяком случае, перед нами предстает в качестве мнимого клинического случая старая Morbus sacer, жуткая болезнь с ее непредсказуемыми, на первый взгляд ничем не вызванными судорожными припадками, с изменением характера в сторону раздражительности и агрессивности и с прогрессирующим ухудшением всей духовной деятельности. Но в любом случае эта картина не отличается определенностью. Самые острые припадки, с прикусыванием языка и мочеиспусканием, достигающие опасного для жизни Status epilepticus, приводящие к тяжкому уродованию самого себя, могут в то же время ослабляться до коротких отключений, до простых, быстро проходящих обмороков, могут сменяться краткими периодами, когда больной как бы под давлением бессознательного совершает поступки, чуждые ему. Обычно возникая непонятно как от чисто физических причин, эти состояния своим первым появлением, видимо, обязаны все-таки причинам сугубо психического происхождения (страх), либо в последующем они реагируют на душевные волнения. Хотя для подавляющего большинства случаев может быть характерно понижение уровня интеллекта, однако известен, по меньшей мере, один случай, при котором недуг не смог нарушить высшую интеллектуальную деятельность (Гельмгольц). (Другие подобные случаи ненадежны или вызывали те же сомнения, что и случай с Достоевским). Лица, страдающие эпилепсией, могут оставлять впечатление тупости, недоразвитости, так как эта болезнь часто сопряжена с ярко выраженным идиотизмом и со значительным дефектом мозга, хотя последние и не являются необходимой составной частью картины болезни; но эти же припадки со всеми их вариациями встречаются и у лиц, обнаруживающих нормальное психическое развитие и скорее чрезмерную, чаще всего недостаточно контролируемую возбудимость. Неудивительно, что при таких обстоятельствах невозможно однозначно установить клиническое качество "эпилепсии". То, что проявляется в сходстве обнаруженных симптомов, вероятно, требует функционального понимания: механизм ненормального высвобождения влечений подготовлен как бы органически, но

используется в самых различных обстоятельствах, как при нарушениях мозговой деятельности из-за тяжелых тканевых или токсических заболеваний, так и при недостаточном овладении психическим хозяйством, при кризисообразном функционировании душевной энергии. За этой двойственностью скрывается тождественность вызывающего его механизма высвобождения влечений. Тот же механизм, возможно, не чужд и сексуальным процессам, по существу, вызываемым токсически; уже древнейшие врачи называли коитус малой эпилепсией, следовательно, видели в половом акте ослабление и приспособление эпилептического высвобождения возбуждения. "Эпилептическая реакция", как можно" назвать это тождество, поступает, без сомнения, и в распоряжение невроза, сущность которого состоит в том, чтобы соматическим путем дать выход большому количеству возбуждения, с которыми невроз не справляется психическими средствами. Таким образом, эпилептический припадок становится симптомом истерии, адаптируется и модифицируется ею, подобно нормальному сексуальному процессу. Итак, с полным основанием следует отличать органическую эпилепсию от "аффективной". Практическое значение этого различия следующее: страдающий первой формой - поражен болезнью мозга, страдающий второй - невротик. В первом случае душевная жизнь подвержена чуждым ей нарушениям извне, во втором - нарушение выражает саму душевную жизнь.

Весьма правдоподобно, что эпилепсия Достоевского - второго рода. Строго доказать это нельзя, так как нужно было бы обладать возможностью включить в целостность его душевной жизни первые случаи и последующие изменения припадков, а для этой цели наши знания слишком малы. Описания самих припадков ничего не проясняют, сведения об отношениях между припадками и переживаниями неполны и часто противоречивы. Наиболее правдоподобно предположение, что припадки имеют свои истоки в раннем детстве Достоевского, что поначалу они характеризовались более слабыми симптомами и лишь после потрясшего его в восемнадцатилетнем возрасте переживания - убийства отца - приняли форму эпилепсии. Было бы редкой удачей, если бы подтвердилось, что они полностью прекратились во время

отбывания наказания в Сибири, но этому противоречат другие данные. Бесспорная связь между отцеубийством в "Братьях Карамазовых" и судьбой отца Достоевского бросалась в глаза не одному его биографу и давала им повод указывать на "известное современное психологическое направление". Психоаналитическая теория, так как именно она имелась в виду, склонна видеть в этом событии тяжелейшую травму, а в реакции Достоевского на него - центр тяжести его невроза.

Но если я попытаюсь психоаналитически обосновать это соображение, то почти уверен, что останусь не понятым всеми теми, кто не знаком с терминологией и с учением психоанализа.

У нас есть надежная отправная точка. Нам известно содержание первых припадков Достоевского в юные годы, задолго до появления "эпилепсии". У этих припадков было сходство со смертью, они были вызваны страхом смерти и сопровождались впадением в летаргический сон. Когда он еще был ребенком, болезнь вначале наваливалась на него как внезапная беспричинная меланхолия: чувство, как рассказывал он позже своему другу Соловьеву, будто он должен немедленно умереть, и действительно, позднее наступало состояние, совершенно сходное с настоящей смертью... Его брат Андрей рассказывал, что Федор уже в детстве, перед тем как ложиться спать, имел привычку оставлять записочки, что боится ночью заснуть летаргическим сном и поэтому просит, чтобы его погребли только через пять дней ("Достоевский за рулеткой". Введение. С. X).

Мы знаем содержание и устремление таких припадков смерти. Они означают отождествление с покойником - с человеком, действительно умершим или еще живущим, но которому желают смерти. Последний случай более важен. В этом случае припадок равноценен наказанию. Пожелавший другому смерти теперь становится этим другим и сам умирает. При этом психоаналитическое учение утверждает, что для мальчика, как правило, этим другим является отец, а стало быть, припадок, называемый истерическим, - это самонаказание за желание смерти ненавистного отца.

Согласно известной точке зрения, отцеубийство - основное и древнейшее преступление как человечества, так и отдельного человека. Во всяком случае, оно - главный источник чувства вины, не уверен, единственный ли: исследования еще не смогли точно установить психические истоки чувства вины и потребности в искуплении. Но он не обязательно должен быть единственным. Психологическая ситуация усложняется и требует пояснения. Отношение мальчика к отцу, как мы говорим, амбивалентно. Помимо ненависти, из-за которой хотелось бы устранить отца в качестве соперника, обычно имеется и некоторая доля привязанности к нему. Обе установки сливаются в отождествлении с отцом: хотелось бы занять место отца, потому что он вызывает восхищение; хотелось бы быть таким, как он, и поэтому желательно его устранить. Весь этот процесс наталкивается теперь на мощное препятствие. В определенный момент ребенок начинает понимать, что попытка устранить отца как соперника угрожала бы ему кастрацией. Стало быть, из-за страха кастрации, то есть в интересах сохранения своего мужского начала, ребенок отказывается от желания обладать матерью и устранить отца. Насколько это желание сохраняется в бессознательном, оно образует чувство вины. По нашему мнению, тем самым мы описали нормальные процессы, нормальную судьбу так называемого комплекса Эдипа; правда, следует сделать важное добавление.

Дополнительные осложнения возникают, когда у ребенка сверх нормы развит конституционный фактор, называемый нами бисексуальностью. Тогда перед угрозой утраты в результате кастрации мужского начала усиливается тенденция уклониться в сторону женственности, более того, поставить себя на место матери и перенять ее роль объекта любви отца. Однако боязнь кастрации делает и эту развязку невозможной. Ребенок понимает, что он вынужден допустить кастрацию, если хочет быть любимым отцом как женщина. В результате подвергаются вытеснению оба побуждения: ненависть к отцу и влюбленность в него. Определенное психологическое различие между ними состоит в том, что от ненависти к отцу отказываются вследствие страха перед внешней опасностью (кастрация); а от влюбленности в отца исцеляются под

влиянием опасения внутреннего влечения, по существу, снова превращающегося в упомянутую внешнюю опасность.

Именно страх перед отцом делает неприемлемой ненависть к нему; кастрация же ужасна и в качестве наказания, и в качестве платы за любовь. Из двух факторов, вытесняющих ненависть к отцу, первый - непосредственный страх наказания и кастрации - следует назвать нормальным; патогенное усиление, по-видимому, привносится лишь вторым фактором - страхом перед феминистской установкой. Сильная бисексуальная предрасположенность становится, таким образом, одним из условий или способов закрепления невроза. Наличие такой предрасположенности, несомненно, следует признать у Достоевского, и в приемлемой форме (латентная гомосексуальность) она проявляется в роли мужской дружбы в его жизни, в его до странности сердечном отношении к соперникам в любви и в его отличном - как показывают многочисленные примеры из его повестей - понимании ситуаций, объяснимых лишь вытесненной гомосексуальностью. Сожалею - но не могу это изменить, - если эти рассуждения об установках ненависти и любви к отцу и об их изменениях под влиянием угрозы кастрации покажутся не сведущему в психоанализе читателю безвкусными и маловероятными. Сам я предположил бы, что именно комплекс кастрации наверняка будет чаще всего отвергаться. Но только смею заверить, что психоаналитический опыт как раз эти отношения не подвергает ни малейшему сомнению и предлагает находить в них ключ для понимания любого невроза. Ключ, который мы обязаны опробовать и на примере так называемой эпилепсии нашего писателя. Но как чужды нашему сознанию обстоятельства, которым подчиняется наша бессознательная душевная жизнь. Сказанным ранее не исчерпываются последствия вытеснения в Эдипов комплекс ненависти к отцу. В качестве нового момента следует добавить, что, в конце концов, отождествление с отцом все же завоевывает себе прочное место в Я. Оно поглощается нашим Я, но как особая инстанция противостоит остальному содержанию Я. Мы называем эту инстанцию Сверх-Я и приписываем ей, наследнице родительского влияния, важнейшие функции.

Если отец суров, властен, жесток, то Сверх-Я воспринимает от него эти качества, и в его отношениях с Я вновь утверждается пассивность, которую как раз было бы необходимо вытеснить. Сверх-Я стало садистским, Я - мазохистским, то есть, в сущности, женственно-пассивным. В Я возникает сильная потребность в наказании, и как таковое Я частично с готовностью подчиняется судьбе, частично находит удовлетворение в жестоком обращении со стороны Сверх-Я (сознание вины). Ведь, по существу, всякое наказание - это кастрация и в этом качестве - осуществление изначальной пассивной установки к отцу. В конце концов, и судьба - всего лишь более поздняя проекция отца.

Нормальные процессы формирования совести должны, следовательно, походить на уже описанные здесь ненормальные. Нам еще не удалось установить границу между ними. Замечено, что в этих процессах наибольшая роль, в конечном счете, принадлежит пассивным компонентам вытесненной женственности. Кроме того, в качестве побочного фактора следует принимать в расчет: в каждом ли случае вызывающий страх отец в самом деле особенно жесток? Это касается и Достоевского, а факт его неординарного чувства вины, как и мазохистского образа жизни, мы объясним его особо сильным женским компонентом. Формула личности Достоевского такова: человек с особо сильной бисексуальной предрасположенностью, способный с особой силой бороться с зависимостью от чрезвычайно сурового отца. Такой характер бисексуальности мы присовокупляем к ранее обнаруженным компонентам его сущности. Следовательно, ранний симптом "приступов смерти" можно понимать как допущенное Сверх-Я в качестве наказания отождествления Я с отцом. Ты захотел убить отца, дабы самому стать отцом. Теперь ты - отец, но мертвый отец; обычный механизм истерических симптомов. И при этом: теперь отец убивает тебя. Симптом смерти является для Я удовлетворением с помощью фантазии мужского желания и одновременно мазохистским удовлетворением. Оба, Я и Сверх-Я, и в дальнейшем играют роль отца. В целом отношение между личностью и отцом как объектом превратилось, сохранив свое содержание, в отношение между Я и Сверх-Я; новая постановка на второй сцене. Такие инфантильные реакции Эдипова комплекса могут заглохнуть, если

реальность и далее не подпитывает их. Но характер отца не остается тем же самым, более того, он с годами ухудшается, и благодаря этому сохраняется ненависть Достоевского к отцу, его желание смерти этого злодея. В этом случае особенно опасно, если действительность осуществляет такие вытесненные желания. Фантазия стала реальностью, все меры защиты отныне усиливаются. Припадки Достоевского принимают теперь эпилептический характер, конечно, они все еще означают кару за отождествление с отцом, но стали столь же ужасны, как и страшная смерть самого отца. Какое дополнительное, в особенности сексуальное, содержание они приобрели, не поддается разгадке.

Примечательно одно: в ауре* припадка переживается миг высшего блаженства, который, по всей вероятности, закрепляет чувство триумфа и избавления при известии о смерти, после чего немедленно следует особенно жестокое наказание. Такую последовательность триумфа и траура, пиршества и скорби мы уже обнаружили в древнейшей орде у братьев, убивших отца, и находим его повторение в церемонии тотемистической трапезы. Если верно, что в Сибири Достоевский не был подвержен припадкам, то это только подтверждает, что его припадки и были его карой. Он более в них не нуждался, поскольку был наказан иным способом. Но это недоказуемо. Скорее, эта необходимость наказания для психического хозяйства Достоевского объясняет, почему он прошел через эти годы бедствия и унижений не сломленным. Осуждение Достоевского как политического преступника было несправедливым, и он должен был это знать, но принял незаслуженное наказание от батюшки-царя как замену наказания, заслуженного за грех по отношению к настоящему отцу. Вместо самонаказания он позволил карать себя заместителю отца. Это дает частичное представление о психологической оправданности наказаний, присуждаемых обществом. Действительно, большая часть преступников жаждет наказания. Его требует их Сверх-Я, избавляя себя тем самым от самоосуждения.

Человек, знакомый со сложным и переменчивым значением истерических симптомов, поймет, что здесь не предпринимается попытка проникнуть в суть припадков. Достоевского далее их начала. Достаточно, чтобы можно было

судить о неизменности - несмотря на все последующие наслоения - их первоначальной сути. Нужно сказать: Достоевский так никогда и не освободился от мук совести из-за намерения убить отца. Эти муки определили и его отношение к двум другим сферам, имеющим мерилом отношение к отцу, - к государственной власти и к вере в Бога. В первой он остановился на полном подчинении батюшке-царю, некогда действительно разыгравшему с ним комедию убийства, которую так часто имели обыкновение разыгрывать с ним его припадки. В этом случае победило покаяние. В религиозной области у него осталось больше свободы, по вполне достоверным сведениям, он, возможно, до последней минуты жизни колебался между религиозностью и атеизмом. Его огромный интеллект не позволял ему замечать те логические трудности, к которым приводит вера. При индивидуальном повторении хода всемирной истории он надеялся в идеале Христа найти выход и освобождение от виновности, использовать собственные страдания для своих притязаний на роль Христа. Если в итоге он пришел не к свободе, а стал реакционером, то это произошло потому, что общечеловеческая сыновняя вина, на которой построено религиозное чувство, достигла у него надындивидуальной силы и осталась не преодоленной даже его огромным интеллектом. Здесь мы навлекаем на себя упрек, что отказались от беспартийности психоанализа и подвергаем Достоевского оценкам, правомерным только с пристрастной точки зрения определенного мировоззрения. Консерватор принял бы сторону Великого Инквизитора и иначе бы судил о Достоевском. Упрек справедлив, для его ослабления можно только добавить, что решение Достоевского, видимо, определялось заторможенностью его мышления в результате невроза.

Вряд ли случайно, что три шедевра мировой литературы разрабатывают одну и ту же тему - тему отцеубийства: "Царь Эдип" Софокла, "Гамлет" Шекспира и "Братья Карамазовы" Достоевского. Во всех трех обнажается и мотив действия - сексуальное соперничество из-за женщины. Конечно, наиболее откровенно описание в драме, основанной на греческой легенде. Здесь деяние совершает еще сам герой. Но без смягчения и без маскировки художественная обработка невозможна. Неприкрытое признание в намерении

умертвить отца, подобно достигаемому психоанализом, вероятно, непереносимо без психоаналитической подготовки. В греческой драме необходимое смягчение - при сохранении сути дела - мастерски достигается тем, что бессознательный мотив героя проецируется в реальность в качестве чуждого ему рокового принуждения. Герой совершает деяние непреднамеренно и вроде бы без влияния женщины, однако эта зависимость принимается в расчет, поскольку он может заполучить мать-королеву только после повторения своего деяния в отношении чудовища, символизирующего отца. После обнаружения и осознания своей вины им не предпринимается никаких попыток снять ее с себя ссылкой на надуманное роковое принуждение, напротив, она признается и карается как полновесная сознательная вина, что рассудку может показаться несправедливым, но с психологической точки зрения полностью оправданно. В английской трагедии описание более завуалировано, деяние совершает не сам герой, а другой человек, для которого оно не означает убийство отца. Поэтому предосудительный мотив сексуального соперничества за женщину не требует маскировки. Эдипов комплекс героя также видится как бы в отраженном свете, поскольку мы воспринимаем только влияние на героя поступка другого человека. Ему следовало бы мстить за это деяние, но, как ни странно, он не способен на это. Мы уверены: его парализует именно чувство собственной вины; весьма обычным для невротических процессов способом чувство вины превращается в ощущение своей неспособности выполнить такую задачу. Это признак того, что герой воспринимает свою вину как надындивидуальную. Других он презирает не меньше, чем себя. "Если с каждым обращаться по заслугам, кто спасется от порки?" В этом направлении роман русского писателя идет еще дальше. И здесь убийство совершил другой человек, но находящийся с убиенным в тех же сыновних отношениях, что и Дмитрий, у которого мотив сексуального соперничества признается открыто; совершил другой брат, которого, что примечательно, Достоевский наделил своей собственной болезнью, мнимой эпилепсией, как бы желая признаться: эпилептик, невротик во мне и есть отцеубийца. И вот в речи адвоката перед судом звучит известная ирония по поводу психологии: мол, она - палка о двух

концах. Великолепная маскировка, так как, стоит ее только сорвать, находишь глубочайший смысл поэзии Достоевского. Ирония относится не к психологии, а к процессу судебного дознания. Ведь для психологии совершенно безразлично, кто на самом деле совершил преступление, для нее важно лишь, кто желал его в своей душе и приветствовал его совершение, а потому все братья (включая контрастную фигуру Алеши) в равной мере виновны - и искатель грубых наслаждений, и скептический циник, и эпилептический преступник.

В "Братьях Карамазовых" есть сцена, в высшей степени характерная для Достоевского. Старец в разговоре с Дмитрием осознает, что тот таит в себе готовность убить отца, и бросается перед ним на колени. Это не может быть выражением восхищения, а должно означать, что святой отвергает искушение презирать или гнушаться убийцей и поэтому склоняется перед ним. Симпатия Достоевского к преступнику в самом деле безмерна, она намного превосходит сострадание, на которое несчастный имеет право, и напоминает о священном трепете, с которым в древности смотрели на эпилептиков и душевнобольных. Для него преступник - почти спаситель, взявший на себя вину, которую иначе вынуждены были бы нести другие. После его преступления больше не нужно убивать, а следует быть благодарным ему, в ином случае пришлось бы убивать самому. Это не просто милосердное сострадание, речь идет об отождествлении на основе одинаковых влечений к убийству, собственно говоря, о минимально смещенном нарциссизме. Этим не оспаривается этическая ценность такой доброты. Возможно, это вообще механизм милосердного участия по отношению к другому человеку, который особенно легко обнаружить у писателя, в высшей степени обремененного сознанием своей вины. Несомненно, эта вырастающая из отождествления симпатия в решающей мере определяла выбор Достоевским литературного материала. Но вначале он разрабатывал тему обыкновенного - из эгоистических побуждений - преступника, политического и религиозного преступника, прежде чем в конце жизни вернуться к первопреступнику, к отцеубийце, и вложить в него свою литературную исповедь.

Публикация его наследия и дневников жены ярко осветила один эпизод из его жизни, время, когда в Германии Достоевского обуяла страсть к игре ("Достоевский за рулеткой"). Очевидный припадок патологической страсти, который никак не может быть оценен иначе. Не было недостатка в оправданиях этого странного и недостойного поведения. Чувство вины, как это нередко бывает у невротиков, нашло конкретную замену в виде бремени долгов, и Достоевский мог оправдываться тем, что благодаря выигрышу он получил бы возможность вернуться в Россию, не опасаясь быть заключенным своими кредиторами в тюрьму. Но это только предлог, Достоевский был достаточно проницателен, чтобы это понять, и достаточно честен, чтобы в этом признаться. Он знал, что главным была игра сама по себе, le jeu pour le jeu (игра ради игры). Все детали его направляемого влечениями безрассудного поведения подтверждают это и кое-что еще. Он никогда не успокаивался, пока не терял все. Игра была для него также средством самонаказания. Несчетное количество раздавал он молодой жене слово или слово чести больше не играть или больше не играть в этот день и, как она рассказывает, почти всегда нарушал свое обещание. Если проигрышами он доводил себя и ее до крайне бедственного положения, это служило для него вторым патологическим удовлетворением. Он получал возможность перед нею поносить и унижать себя, просить презирать его, сожалеть о том, что она вышла замуж за него, старого грешника. А после этого успокоения совести на следующий день игра продолжалась. И молодая жена привыкла к этому циклу, поскольку заметила, что литературная работа, от которой действительно только и можно было ждать спасения, никогда не продвигалась лучше, чем после потери ими всего и заклада их последнего имущества. Естественно, она не понимала такой зависимости. Когда его чувство вины было успокоено наказаниями, к которым он сам себя приговорил, тогда пропадала заторможенность в работе, тогда он позволял себе сделать несколько шагов на пути к успеху.

Какие обрывки давным-давно позабытых детских переживаний оживают в страсти к игре, позволяет без труда разгадать новелла писателя более молодого поколения. Стефан Цвейг, посвятивший, между прочим,

Достоевскому специальное исследование ("Три мастера"), в своем сборнике из трех новелл "Смятение чувств" излагает историю, которую он назвал "Двадцать четыре часа из жизни женщины". Этот маленький шедевр намерен якобы только показать, каким безответственным существом является женщина и на какие удивительные для нее самой выходки ее может толкнуть неожиданное жизненное впечатление. Однако же новелла - если интерпретировать ее с позиции психоанализа - идет гораздо дальше, изображает - не считая этого оправданного намерения - нечто совсем другое, общечеловеческое или, скорее, общемужское, и психоаналитическая интерпретация напрашивается столь назойливо, что от нее невозможно отказаться. Для природы художественного творчества характерно, что мой друг писатель в ответ на мои вопросы уверял, что сообщенное ему толкование совершенно чуждо его сознанию и намерениям, хотя в рассказ вплетены некоторые детали, как бы рассчитанные именно на то, чтобы указывать на тайный след. В новелле Цвейга одна знатная пожилая дама рассказывает писателю о событии, происшедшем с ней более двадцати лет назад. Рано овдовевшая мать двоих сыновей, которые в ней больше не нуждались, отказавшаяся от всяких житейских надежд, на сорок втором году жизни во время одного из своих бесцельных путешествий попадает в игорный зал монакского казино, и среди всех его достопримечательностей ее внимание вскоре захватывает вид двух рук, которые с потрясающей непосредственностью и силой как бы раскрывали все переживания несчастного игрока. Эти руки принадлежали красивому юноше - писатель как бы ненамеренно делает его ровесником старшего сына зрительницы, - который после того, как потерял все, в глубочайшем отчаянии покидает зал, чтобы, как она предполагает, в парке покончить со своей безнадежной жизнью. Необъяснимая симпатия заставляет женщину следовать за ним и сделать все возможное для его спасения. Он принимает ее за одну из весьма многочисленных в том городе навязчивых женщин и хочет от нее отделаться, но она не покинула его и самым естественным образом была вынуждена остаться в его номере и, в конце концов, разделить с ним постель. После этой импровизированной любовной ночи она заставляет, казалось бы,

успокоившегося юношу торжественно поклясться, что он никогда больше не будет играть, снабжает его деньгами на возвращение домой и обещает встретиться с ним на вокзале перед отходом поезда. Но затем в ней пробуждается огромная нежность к нему, она готова пожертвовать всем для его сохранения и решает - вместо того чтобы с ним проститься - уехать вместе с ним. Непредвиденные случайности задерживают ее, и она опаздывает на поезд; тоскуя по исчезнувшему юноше, она вновь заходит в игорный зал и с ужасом видит там те же руки, вызвавшие вначале ее симпатию; нарушитель слова вернулся к игре. Она напоминает ему об обещании, но, одержимый страстью, он бранит ее за то, что она мешает игре, велит ей уходить и швыряет ей деньги, которыми она якобы хотела его купить. Глубоко оскорбленная, она убегает, а позднее узнает, что ей не удалось спасти юношу от самоубийства.

Эта с блеском написанная, безупречно мотивированная история имеет, разумеется, право на существование сама по себе и наверняка оказывает большое воздействие на читателя. Но психоанализ указывает, что ее создание вдохновляется одним желанием-фантазией периода половой зрелости, которую некоторые личности сами осознанно вспоминают. Согласно фантазии, мать хотела бы сама ввести юношу в половую жизнь, чтобы спасти его от вызывающего опасения вредоносного онанизма. Столь многочисленные, снимающие напряжение художественные произведения имеют аналогичный первоисточник. "Порок" онанизма заменяется пороком страсти к игре, акцент на страстной деятельности рук предательски свидетельствует об этом извращении. Действительно, одержимость игрой эквивалентна старой тяге к онанизму, никаким другим словом, кроме слова "игра", нельзя назвать манипуляции с гениталиями в детской. Неодолимость соблазна, священные и все же никогда не сдерживаемые клятвы больше этого не делать, дурманящее наслаждение и нечистая совесть, осуждающая себя (самоубийство), все это при замещении сохраняется неизменным. Конечно, новелла Цвейга рассказывается от имени матери, а не сына. Сыну должна льстить мысль: если бы мать знала, к каким опасностям приведет меня онанизм, она, конечно, спасла бы от них, разрешив мне любую ласку с ее собственным телом. Приравнивание матери к

публичной девке, проделанное юношей в цвейговской новелле, - часть все той же фантазии. Оно делает недосягаемое легко достижимым; нечистая совесть, сопутствующая этой фантазии, приводит новеллу к плохому концу. Можно также с интересом отметить, как внешнее оформление, данное писателем новелле, пытается прикрыть ее психоаналитический смысл. Все же очень спорно, что любовная жизнь женщины подчиняется внезапным и загадочным импульсам. Напротив, психоанализ вскрывает сложную мотивацию поразительного поведения женщины, отказывавшейся до сей поры от любви. Верная памяти своего умершего супруга, она была вооружена против всех притязаний, подобных мужниным, однако - и в этом фантазия сына правомерна, - она как мать не избегла совершенно не осознаваемого ею перенесения любви на сына, и в этом незащищенном месте ее подстерегает судьба. Если страсть к игре вместе с безрезультатной борьбой за освобождение от нее и следующие за нею поводы к самобичеванию являются повторением тяги к онанизму, то неудивительно, что она завоевала в жизни Достоевского столь значительное место. Мы ведь не встречали ни одного случая тяжелого невроза, в котором не играло бы роль автоэротическое удовлетворение периода детства и созревания, а связь между попытками его подавить и страхом перед отцом слишком хорошо известна, чтобы требовалось что-либо, кроме короткого упоминания.